

Виктор
БОКОВ

ВЕЛИКИЙ БЕРЕНДЕЙ

СТРАНИЦЫ
ВОСПОМИНАНИЙ

В ПЕРВЫЕ я увидел Михаила Пришвина осенью 1931 года в Загорском педтехникуме. Он пришел на литературный вечер. С ним были два прозаика — Алексей Кожевников и Федор Каманин. Тогда все они жили в Загорске. Коренастый, крепко сбитый Алексей Кожевников певучим своим вятским голосом читал отрывок из романа о Турксибе, худой, длинный, как плеть, Федор Каманин живо и выразительно рассказывал свою повесть о детстве. Пришвин слушал с восторгом. Он любил живое слово и сам был редким рассказчиком. Михаил Михайлович был в начищенных хромовых сапогах, грудь закрывала черная, как смоль, борода. Пришвин прочел маленький рассказ. Дошла очередь и до нас, юнцов техникума, которые пописывали стихи. Выходили гуртом, читали что-то сырое, неуклюжее. Вышел и я и стал читать. И сейчас помню плохие строки: смотрит на землю небо мириадами звезд. В стихах были и розы, и бриллианты, все это я взял у Фета.

Вечер окончился, Пришвин поздравлял меня:

— Заходите, молодой человек! Вы мне понравились.

Через несколько дней я пришел на Комсомольскую, 85. Это был собственный дом Пришвина. Скромный домик, каких тогда было очень много в Загорске, бывшем Сергиевском посаде. Дом с полуподвалом, белые наличники без резьбы, обит тесом, выкрашен в серый, под стать зимним сумеркам цвет.

Домработница, шлепая по двору озябшими босыми ногами, проводила меня к Пришвину. Я робко застыл на пороге, хозяин позвал меня к столу, за которым я слушал его потом много раз, любовался его красивым лбом, осканкой, могучей шевелюрой «черного араба».

— Стихи читал плохие! — сердито сказал писатель.

С чувством глубокого стыда я утонул в кресле, которое было мне указано. Но в глазах Пришвина светились доброта и расположение. Это я понял. За резкой критикой последовало одобрение:

— Я вас вот зачем позвал. Вы очень красиво держали себя на сцене! Просто удивительно! Деревенский мальчик, а вышел как природный артист, с первой ноты не пофальшивил. Молодчина! А главное, что волновался красиво. Этому не научишься, это от природы. Талант — это умение красиво волноваться.

Так началась наша дружба. Я не стал учителем, бросил техникум, поступил на завод в ученики токаря. Пришвина продолжал читать и чтить, и пропагандировать.

Мне захотелось, чтобы Пришвин приехал к рабочим. Они мне говорили: «Что это за Пришвин, покажи нам его, что это за такой бог?»

Пришвин смеялся этим словам и обещал приехать. Он появился на автомашине, которую ему разрешило купить правительство. Михаил Михайлович свободно водил машину и сам пригнал ее из города Горького.

В те годы мало кто имел автомобиль, а певец природы, охотник, лесной бродяга, поэт и философ Пришвин стал автомобилем.

Выступление перед рабочими он начал необычно. Вынул из маленького чемоданчика два поршневых кольца и, показав их, спросил:

— Что это?

— Поршневые кольца, — ответили рабочие.

— Правильно! — подтвердил Пришвин. — Это красиво?

— Красиво! — ответили рабочие.

— А знаете, сколько стоит эта красота?

Незаметно Пришвин подвел свою аудиторию к мысли, что красота человеку дорого стоит, за нее гибнут, стреляются. Певец природы вдруг сделался социологом, и разговор пошел на тему трудности любого пути в жизни, в том числе и творческого.

— Все сейчас кинулись писать о соловьях, — сказал он, — а я не хочу о соловьях, я хочу о машинах писать, я теперь за рулем!

И стал читать рассказ о домкрате-богатыре, который дремлет в багажнике машины, пока не понадобится, а понадобится — с его помощью водитель и колеса заменит, и ремонт сделает. Сослужив службу, домкрат опять спит себе в багажнике.

Рассказ был очарователен и мудр. Рабочие удовлетворенно вздохнули, каждый стал думать о своем — кто о скромности, кто о терпеливости, о готовности сделать дело, выручить кого, если в том будет надобность. У меня сохранилось фото этой встречи. Я сижу рядом с Михаилом Михайловичем, а на его руках девочка, тоже участница встречи, слушает она и с тайным ужасом и восторгом поглядывает на черную бороду Пришвина.

В тридцатые годы я писал не только стихи, но и прозу.

Приходим мы однажды с моим товарищем Костей Барыкиным к Пришвину и отваживаемся прочитать ему свои рассказы. Прочитали, ждем, что скажет метр. А он хитровато лезет в свой письменный стол, достает конверт с надписанным адресом и говорит:

— Судить вас буду не я, а тетка Матрена.

И читает письмо, написанное рукой крестьянки из Переславля-Залесского. Письмо с деревенским наивом, с известной формулой: «...и еще кланяется Вам супруг мой Иван Тихонович и дочка Валя, и сыночек Федя, и соседка Дарья, которая вам приносила картошку».

Дальше сообщалось, кому что шили к зиме, кому скатала валенки, сколько намолотили хлеба, чем будут крыть крышу. Письмо душевное, откровенное, исповедь простой женщины, которая живет семьей, заботами о ближних.

Прочтя его, хитровато улыбаясь и поглядывая на нас, Пришвин спросил:

— Скажите, молодые люди, какой из рассказов, которые вы мне прочли, ближе к письму моей знакомой Матрены?

— Мой рассказ ближе! — сорвался я.

— Правильно! — подхватил Пришвин. — Ваш рассказ лучше, в нем больше правды, он ближе к жизни. А вы, молодой человек, — обратился он к моему другу, — зачем же так врете? Ведь вы же знаете, что неправду пишете! Нехорошо. Честь смолоду — это завет молодым людям.

И еще урок дал мне Пришвин.

С порога, как близко знакомому человеку, говорю ему, торопясь:

— Михаил Михайлыч, я к вам на пару слов.

— На пару слов? — почти с негодованием повторил он эти слова.

Пару чая — да, но пару слов — как можно! Никогда больше не говорите так, вы писатель, вы должны говорить не по-газетному и не жаргоном.

И тут же назвал имя прозаика, у которого, по его мнению, плохо с языком.

— Говорят, что он хороший человек, возможно. Но в литературе он мой враг, он разрушает все дело моей жизни. Вы послушайте!

Михаил Михайлович прочел абзац из книги прозаика и все сокрушался, что тот не слышит живой речи народа.

Уже в своей первой книге о севере Пришвин жадно схватывает речь своих героев. Он признавался, что пишет так, как говорила его родная матушка. Я обращал много раз внимание на изустность пришевских прозы, на ее высокое сказительство. Рассказ «Старый гриб» по существу своему — современная сказка. Я обратил на это внимание Пришвина, он записал в дневнике. В шестом томе собрания сочинений можно прочесть: «Боков считает рассказ «Старый гриб» фольклором».

Свежестью, родниковостью слова веет со страниц «Журавлиной родины». Я знал эту книгу наизусть. Места, описанные в книге, недалеко от моей родной деревни Язвицы. Двоюродная сестра моя Нюша вышла замуж за заболотского мужика.

— Откуда? — бывало, спросит моя мать пришлого человека.

— Из Заболотья, — ответит тот. Заболотье стало у Пришвина страной чудес, страной поэзии, страной мудрых крестьян и охотников, пастухов и пахарей.

Мне захотелось съездить с Пришвиным в заповедные места, которые вдохновили его на высокую поэзию «Журавлиной родины».

— Возьмите меня с собой в Константиново! — просился я.

— Полноте! Что там вы увидите? Болота, грязь, комары, слепни, это я в сердце своем создал «Золотой луг», который вы так любите, да и «Журавлиную родину».

И это был урок, хотя он длился мгновение.

Надо воспитывать свое серд-



М. ПРИШВИН. 1933 год.

це, растить в нем красоту и любовь к своей земле.

Когда вышел из печати «Заполярный мед», я прочел с восторгом и увидел, что и тут Пришвин обыденный факт трудовой деятельности человека сделал современной сказкой, дал ему крылья красоты, жившей в его мудром, поэтическом сердце.

Я пытался разобраться, как написан этот удивительный очерк-поэма. Нигде нет следов и швов, вещь вся как цельный слиток золота, как перомотовская «Тамань». Позвонил на московскую квартиру, сказал Пришвину, что он написал шедевр. Была небольшая пауза, то ли Пришвин был смущен, то ли был не согласен со мной в оценке, тогда я вместо высоких оценочных эпитетов перешел на легенду, которую слышал в Сибири. Черт овладел всеми специальностями, все умел. Но вот нашел он на дороге валенок, поднял и стал думать: а как же валенок шить?

Вертел, вертел, так и не мог понять, как делают валенки. Отбросил черт валенок в сторону и ругнулся в сердцах: «Не делать мне валенка».

— Вы, Михаил Михайлыч, сделали валенок!

Детская радость раздалась мне в ответ:

— Здорово, здорово вы про валенок!

И потом не раз он вспоминал мой валенок. «Литературу делают валы», — записал Жюль Ренар в своем дневнике. Пришвин повторил его слова, и сам он был волом. В шесть утра он уже собран и спешит в лес, там ждет его пеня, на котором, как на письменном столе, будет писать он свои чудо-новеллы, или, по его словам, поэмы!

Подвижничество в литературе было неразрывно связано с подвижничеством в поведении на природе. Если опубликовать тысячи фотографий Пришвина из жизни природы — и это будет подвигом поэта-мыслителя, понимавшего душу живой природы не меньше Гёте. В одну из встреч в московской квартире Пришвин подал мне фотографию с вопросом:

— Что делает щука?

На фотографии была изображена щука, стоявшая на самой поверхности воды. Глаза ее были вытаращены, сама она ошалелая какая-то.

— Михаил Михайлыч, она не икру мечет? — спросил я.

— Знаете! Молодец! — обрадовался он. — Пять часов я высидел над рекой, пока она не вышла и не взялась за свое материнское дело.

Я хотел иметь эту чудо-фотографию и, как цыганка, выманивал ее. Пришвин обещал напечатать специально для меня. Но не успел. Всех дел не сделал еще ни один человек. Этого никому и не дано!

Пришвин открыл, занимаясь фотографией, что паук тклет свою паутину только на рассвете, по росе, когда нити его влажные. Пришвин первый, кто сфотографировал паука за работой, за ткацким станком.

На подаренном мне томе сочинений Пришвин написал:

«Моему литературному ученику с заветом моего литературного опекуна: «Поблизже, Пришвин, к лесам, подальше от редакций!»

Да, близко стоял он к лесам, к воде, к свету, к растительному и животному миру. «Корень жизни» — великая и мудрая песня о человеке и его участии во всем живом на земле.

«Пишу о травишках», — говорил он, — а сам только о людях и думаю».

Вульгарные социологи, не жаловавшие Пришвина, не понимали, что охрана природы средствами поэтического видения — социальная функция литературы. Теперь-то нам видно, как далеко смотрел Пришвин и как важно нашему обществу иметь Пришвина, великого певца нашей Родины.

Я испытывал благотворное влияние Пришвина, когда писал книгу прозы «Над рекой Истермой». Об этом говорилось критиками. Я постоянно читаю и перечитываю его, дивлюсь чудесному потоку его слов и мыслей. Каждый раз в лесу при встрече с желто-фиолетовыми цветками иван-да-марьи я нагибаюсь и спрашиваю вслед за Пришвиным:

— Иван, Иван, а где твоя Марья?

Много бы еще мог я вспомнить про Михаила Михайловича, но боюсь надоесть. Скажу о его мужестве. В тяжелые для меня дни я получал от него ободряющие письма. А однажды он написал мне очень короткое:

«Приветствую вас, достойный гражданин, становитесь в строй, пойдём вместе».

Вместе пришлось идти недолго. Как-то, проснувшись в своей тесной комнатенке, снимаемой у одной пожилой женщины, я всем сердцем почувствовал, что меня зовет Пришвин.

Встал и собрался к нему.

На витрине в газете прочел: его уже нет!

Ему был 81 год. Гёте, А. Толстой, Б. Шоу — не так уж много долгожителей в литературе. Пришвин в их числе.